МИРОВАЯ КЛАССИКА

Ю. НАГИБИН

Московская книга

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«Ни одна женщина не вступала в мою душу так решительно и властно, как первая учительница Мария Владимировна…»

- Юрий Нагибин
  - ○

Юрий Нагибин
Как трудно быть учителем!

Ни одна женщина не вступала в мою душу так решительно и властно, как первая учительница Мария Владимировна.

Я смутно помню сумбур, предварявший начало занятий. Мы долго томились сперва в тесном вестибюле школы, потом на широкой, с низкими обшарпанными ступенями лестнице, откуда нас прогнали назад в вестибюль, в жестокую давильню, и вдруг кто-то крикнул: «Теперь можно!» — и мы опрометью кинулись по лестнице на второй этаж, и моя мама на бегу спрашивала о чем-то других мам, а те спрашивали ее, и мы скопом ворвались в класс, где за партами сидели ученики, а за столиком клевала носом дряхлая учительница с белыми легкими волосами, и мамы закричали хором: «Извините, пожалуйста!» — и выволокли нас в коридор.

Я уже начал беспокоиться, что меня не приняли в школу и не будет никаких уроков, вызовов к доске; учебников, тетрадей, домашних заданий, отметок — словом, всего, о чем я так страстно мечтал целый год. Но тут распахнулись высокие двустворчатые двери другого класса, прямо против лестницы, и в воздухе родились слова: «Первый „В“, сюда!» Еще не ведая своего литера, я почему-то решил, что призыв относится ко мне, и не ошибся. Мамины пальцы, державшие мою руку, разжались, она легонько подтолкнула меня в спину, словно к воде, я ринулся в распахнутые двери, вернее, в пробку, мигом их закупорившую. Мертвой хваткой в меня вцепился мой закадычный дворовый друг Митя Гребенников, слабак и плакса, и, почувствовав ответственность за него, я разом забыл об оставленной маме, стал лягаться, толкаться, ломить напропалую, мы ввалились в светлую, просторную комнату класса и захватили одну из передних парт.

Шум стоял оглушительный — орали, топали, хлопали крышками парт. Внезапно наступила мертвая тишина, и все взгляды с дружным испугом обратились к приоткрывшейся двери. Массивная медная ручка тихо поворачивалась вверх-вниз. Дверь притворилась, оставив лишь узенькую щелочку, мы сидели не дыша, завороженные странными маневрами. Затем дверь решительно, но несуетливо распахнулась, и в класс вступила Хозяйка. Среднего роста, средней полноты женщина, с высокой грудью, подчеркнуто прямой спиной и гордо посаженной головой. Ноги она ставила по-балетному: пятки сближены, носки врозь.

При ее дородности и неспешности всех движений эта походка сообщала величавость — она не просто шла, а выступала, как в торжественном шествии.

Лицо у Марии Владимировны было стойкого красноватого оттенка. Эта напоминающая ожог краснота захватывала уши, шею и грудь в вырезе платья. Очевидно, сосуды у нее залегали близко к поверхности кожи. Когда Мария Владимировна бледнела, на щеках отчетливо проступала тончайшая лиловая сеточка. А вообще Мария Владимировна была красива: совершенный по четкости и лаконизму профиль, глаза чуть темнее березового сока, небольшие, но яркие, блестящие, суховатый, строгий рот. Прическу она носила гладкую, с тугим пучком; густые, пушистые, пепельные с прозолотью волосы нарушали порядок и обводили голову зыбким контуром, загоравшимся на солнце наподобие нимба. Это случилось в первый же день. Производя перекличку, Мария Владимировна с журналом в руках стала против окна, и солнечный луч вспыхнул в пушистом обводе ее головы.

«Не сотвори себе кумира», — гласит заповедь. В детстве я только тем и занимался, что творил себе кумиров. Языческое стремление обожествлять окружающее было столь сильно во мне, как будто я происходил с берегов Ганга. Я жил в поклонении многим богам. Кроме богов домашних, к ним принадлежали юный велосипедист Батаен, теннисист Правдин, Хосе-Рауль Капабланка, мушкетеры Александра Дюма, наш сосед Данилыч — бог Гражданской войны, голкипер Соколов, Вовка Ковбой, дворовый атаман, и Колька Глушаев, его дачный заместитель, мой дом, выходивший на три переулка, Меншикова башня — за грозную высоту, Абрикосовский сад, рысак Хапун из конюшни в нашем дворе, пистолет «монтекристо», красный цвет, городки и шестилетняя девочка Ляля, обмазанная шоколадом.

В тот ясный, жесткий, начавшийся с заморозков первый день сентября все прежние кумиры умалились, сникли, отшатнулись в тень, многие с тем, чтобы уже никогда не вернуться, и державно воссиял образ отнюдь не христианской, а языческой Марии.

Я радостно и беззаветно вручил свою судьбу новому кумиру — величавой женщине с ореолом вокруг головы, с прямым, спокойно-строгим, нелюбопытствующим взором, с чеканной серебряной брошкой, лежащей плашмя на высокой, тихо дышащей груди.

Как трудно быть учителем! Проходить ежедневный контроль десятков пар внимательных, острых, всевидящих и зачастую недоброжелательных глаз. Любое упущение в костюме, прическе, повадке немедленно отмечается и заносится в тот устный кондуит, который школьники ведут на учителей с большей

неутомимостью, нежели учителя на них.

Ученики знают все свойства и слабости учителей: такой-то не враг рюмке, а такая-то ходит на свидания, такой-то перекидывается по вечерам в картишки, а такая-то помешана на оперных певцах. Они знают не только, как учитель провел выходной день, но и как он спал, какие у него отношения в семье, здоров ли он или скрывает недуг, заслуживает уважения или только работает под образцового гражданина в школьных стенах. Знают его заветную страсть: собирание марок, игру на скрипке, сочинительство, танцы. За версту чуют пролаз, карьеристов и тех, кто не любит своей профессии.

Мария Владимировна была безукоризненна во всем. Едва ли не единственная учительница нашей большой школы, она не носила клички. На ее уроках царила тишина, хотя она отнюдь не принадлежала к страшилам. Она никогда не повышала голоса, не отчитывала провинившихся и, уж конечно, не выставляла за дверь. Лишь в редких случаях делала она замечание, обычно же ограничивалась взглядом, чаще просто укоризненным, порой кратко-грозным, как взблеск молнии, иногда же томительно-долгим, так что хотелось сквозь землю провалиться, исчезнуть, развеяться прахом. Это было известно мне из чужого опыта. За все годы я ни разу не удостаивался такого взгляда, да, уверен, и не выдержал бы его. Взгляд обычно сопровождался неразвернутой, презрительно-горькой улыбкой, а предшествовал ему прилив крови к почти не защищенным кожей сосудам Марии Владимировны.

Вообще Мария Владимировна легко краснела, но не от смущения, неуверенности или радости, а лишь от недовольства или скрытого гнева. Мне кажется, Мария Владимировна держала нас в повиновении прежде всего этим румянцем, как водителей — красный свет светофора. Мы так же замирали при его появлении, не доводя дела до нарушения.

Но конечно же, не на страхе строились ее отношения с классом. Она владела бесценным даром подчинять себе молодые души. Весь класс в той или иной мере был влюблен в Марию Владимировну — и мальчишки, и девчонки.

Она достигала этого минимумом усилий: всегдашней подтянутостью — ни малейшей небрежности в одежде, жестах, интонации, — ровным поведением, образцовостью всего внутреннего и внешнего облика. В ее лишенной скучного педантизма строгости была торжественность высокого и скромного праздника, исключающего панибратство и даже намек на вульгарность. Она умела подать себя, заставить ценить малейший знак своего внимания, не то что благоволения. Добрая

улыбка Марии Владимировны могла сделать человека счастливым.

Она избегала прикосновения к ученикам. В младших классах девчонки и даже некоторые мальчишки любили виснуть на учителях, да и сами учителя не прочь были в доверительном разговоре обнять ученика за плечи. Этот прием особенно рекомендуется при объяснении с отъявленным хулиганом и должен вызвать раскаяние в заблудшей душе, а также при шепотке с малолетними стукачами, готовыми за теплоту учительского доверия предать всех товарищей, выдать все тайны. Мария Владимировна так себя поставила, что и самые липучие девчонки не осмеливались коснуться ее, не то что обнять или повиснуть на талии.

И последнее, на чем стоял ее авторитет, хотя с этого следовало бы начать: она была отличным педагогом и справедливым человеком. Она превосходно объясняла, обладала красивым, четким почерком, грудным, звучным голосом, пробивавшим всякую сонную лень, и умелыми руками — в старших классах Мария Владимировна преподавала труд. И всегда выставляла тебе ту отметку, которую по совести ты сам поставил бы себе.

Но пожалуй, все перечисленное не вознесло бы Марию Владимировну так высоко в наших душах, если б не покров тайны, окутывающий ее статную фигуру. Никто ничего не знал про нее, кроме каких-то плоских очевидностей: живет возле Красных Ворот, не замужем, бездетна — вот и все. За этим куцым знанием простирались дали неведения. Как случилось, что такая прекрасная женщина, как Мария Владимировна, лишена мужа, семьи? Все остальные классные руководительницы имели мужей.

Видимо, прежде Мария Владимировна была замужем, но что-то случилось в ее жизни, какая-то драма, и она осталась одна. В первом-втором классах мы, конечно, не задавались подобными вопросами, в третьем нас стало волновать непонятное одиночество Марии Владимировны, в четвертом мы уже подвергали это одиночество серьезному сомнению. Мы полагали, что у Марии Владимировны есть тайна. Наше уважение к ней не позволяло нам обсуждать ее тайну друг с другом, как, скажем, очередной запой Михаила Леонидовича, развод Агнии Федоровны со старым мужем или влюбленность преподавательницы физкультуры в красавца завуча. Но каждый про себя бился над загадкой Марии Владимировны. Что касается меня, то я думал об этом постоянно и легко угадывал настроенных на ту же волну.

Жизнь Марии Владимировны за стенами школы была повита туманом. Что она делает, когда не сидит над нашими

неопрятными тетрадками? Куда ходит? С кем встречается, дружит? Каковы ее увлечения? Мария Владимировна была хорошо осведомлена не только о новых спектаклях, фильмах, выставках, но и о таких, казалось бы, необязательных для нее событиях, как футбольный матч «Спартак» — «Локомотив», гастроли иллюзиониста Кефало или рекордный прыжок Виталия Лазаренко. Может, она просто читала «Вечернюю Москву» и обладала хорошей механической памятью? А может, считала нужным быть в курсе той жизни, что занимает ее учеников? Но не исключено, что она сама была футбольной болельщицей или страстной театралкой, что в юности снималась в кино, что ее распиливал в деревянном ящике муж-фокусник, пока не бросил ради девочки-акробатки или же она сама ушла от него с укротителем львов, вскоре растерзанным хищниками. Клянусь, мне и такая чепуха приходила в голову.

Почему нам казалось, что у Марии Владимировны должна быть особая, странная, необыкновенная жизнь? Ну хотя бы потому, что она не растрачивала себя в классе, как другие учителя. Она давала нам не меньше, может быть, даже больше своих коллег, но душа ее оставалась сохранной, свободной, не выкипала, как, скажем, у вечно взволнованной, громогласной, переходящей от гнева к восторгу и вновь впадающей во гнев Анны Дмитриевны. Она не уставала, как рыхлая, добрая и бессильная Софья Николаевна, кончавшая всякий школьный день валерьянкой или другими каплями. Да и все наши учительницы, немолодые, к тому же обремененные домашними заботами, напрочь выдыхались к концу учебного дня. За исключением юной и легкомысленной Елены Михайловны. Но с той все было ясно. У школьных дверей ее поджидал муж-летчик, они сразу отправлялись в кино, или в сад «Эрмитаж», или на каток, если дело было зимой.

Ну а куда направляла свой неспешный, торжественный шаг Мария Владимировна? Неужели просто домой?.. Вот она приходит в свою пустую, одинокую комнату в густонаселенной квартире, пропахшей кухней, раздевается, повязывает фартук и начинает разогревать на примусе вчерашний суп и заготовленные впрок биточки, а потом валяется на кушетке, проглядывая «Вечерку», особенно внимательно последнюю страницу, где хроника и реклама кино, театров, цирка, объявления о смерти и перемене фамилий… Такую картину мы не могли представить себе. Нет-нет, тут все должно быть напоено ароматом недоступной для нас, манящей взрослой жизни, осуществляющей себя сильно и смело.

Однажды — уже третьеклассником — мартовским лиловым

подвечером я долго шел за Марией Владимировной путаницей переулков, что оплела Москву между Чистыми прудами и Садовой. Это получилось как-то само собой, мне и в голову не приходило выслеживать ее. Я направился к больному товарищу и где-то в устье Мыльникова переулка чуть не наскочил на свою учительницу. Не знаю, почему все обмерло во мне, будто я совершил невесть какую нескромность. Я замер и молил Бога, чтобы она не обернулась. Мне казалось, если она приметит меня и заговорит, случится непоправимая беда: я или онемею, или лишусь сознания, или разревусь, или выкажу такую непроходимую тупость, что мне не жить после этого. Но Мария Владимировна не оглянулась.

Она держала себя на улице, как в классе: так же строго и празднично несла свою гордо посаженную голову. Она двигалась размеренно и неспешно, глядя прямо перед собой, непричастная к окружающей среде, как в школьном коридоре на большой перемене. И я не заметил, чтобы в многолюдстве часа пик кто-нибудь толкнул ее или хотя бы задел локтем. Переходя улицу, Мария Владимировна не замедляла шага, не оглядывалась по сторонам, а спокойно шла наперерез потоку машин, телег, пролеток. Но она так же не мешала движению транспорта, как и ей не мешало уличное движение.

Я брел за ней будто зачарованный. Меня толкали, чуть не сбивали с ног спешащие с работы люди, обругал ломовик, извозчик пытался огреть кнутом. Неуязвимость Марии Владимировны не распространялась на ее ученика.

Я не отдавал себе отчета, зачем иду, на что рассчитываю, какую преследую цель. Да и не было у меня ни цели, ни расчета. Невысокая, статная женская фигура в темном пальто с рыжеватым мехом влекла меня на невидимом буксире. Чем дальше мы шли, тем сильнее росло во мне волнение. Мы к чему-то приближались. К ее дому?.. К дому, где ее ждут?.. К назначенному месту встречи?..

Вдруг Мария Владимировна повернулась и пошла прямо в блеск громадных низких окон. Мне и в голову не пришло, что целью маневра Марии Владимировны могла быть просто витрина галантерейного магазина. Я полагал, что она собирается проникнуть в дом сквозь толстое стекло, и готов был узреть чудо. В последний миг Мария Владимировна раздумала окунуться в стихию стекла и стала что-то рассматривать там. Я замер у ближайшей водосточной трубы. Лицо ее оставалось непроницаемым, лишь дрогнула бровь, обнаружив скрытую душевную работу. Мария Владимировна отстранилась от витрины и тем же строгим шагом пошла дальше. Я подскочил к стеклу —

обычные товары галантерейного магазина: сумочки, кошелечки, пуговицы на картонках, гребешки, ножницы, головные щетки, катушки с нитками, наборы иголок. Что заинтересовало тут Марию Владимировну? Почему она вскинула бровь — движение, какого она никогда не позволяла себе в классе? Мне стало совестно. Я подглядел нечто такое, что не принадлежало Марии Владимировне — педагогу и классной руководительнице, а лишь Марии Владимировне — женщине. Это нехорошо, я воспользовался беззащитностью человека, не ведающего, что за ним следят. И я не пошел дальше.

Как много значит время на заре жизни! Сейчас годы ничего не меняют во мне, кроме физического самочувствия. А как поразительно много происходит в растущем человеческом существе за какие-нибудь полгода на пороге отрочества! Мне было около одиннадцати, когда выслеживал Марию Владимировну, я едва перешагнул двенадцать, когда попытался завоевать ее душу.

За эти месяцы я пережил острейшее увлечение географией, завесил все стены комнаты картами, обзавелся кучей атласов и маленьким глобусом. На карте земных полушарий твердь торжествовала над водной стихией густотой коричневого — гор — и зеленого — равнин. Глобус — во власти морей, он весь блестит голубизной. У меня были карты физические и политические, карты мира, материков и отдельных стран. И карты морских течений, и карта земной фауны — во всю стену. Это была моя самая великая драгоценность, я напал на нее в географическом магазине на Кузнецком мосту и с тех пор больше никогда не встречал в продаже.

Карта выполнена с удивительным искусством: зверям не только хватает места в скупых пределах, но все они помещены в характерную для них среду. Зеленые мартышки цепляются за лианы, лев терзает антилопу под колючей акацией; на печально пустынном пространстве Австралии бродит птица киви, торопится к гнезду с яйцами утконос, кенгуру с малюткой в брюшном мешке готовится к прыжку, мчится стая диких собак динго. Каким-то потерянным казалось австралийское зверье по контрасту с перенаселенностью других материков, где, как в кухне коммунальной квартиры, все сидят друг у друга на голове: львы, слоны, бегемоты, носороги, гориллы, страусы, жирафы, крокодилы, черепахи, змеи…

На каждую страну я завел тетрадку и вписывал туда всевозможные сведения, которые мне удавалось получить из географических карт: ведь на многих из них помечены и полезные ископаемые, и большие предприятия, и товарооборот портов, не

говоря уже о железных и шоссейных дорогах, морских путях. У нас не было учебника по географии. Конечно, я мог без труда получить все интересующие меня данные из учебника для старших классов, но это убило бы дух исследования. А я словно путешествовал по картам и глобусу, сам для себя открывая Францию, Англию, Испанию, Японию, Индию и так вплоть до карликовых государств и островов в Океании.

Я рассказываю о своих географических увлечениях, потому что путь к сердцу Марии Владимировны прокладывал через географию. Не читав еще трактата о любви Стендаля, я своим умом постиг, что надо заставить любимое существо думать о тебе, и география дала мне такую возможность. Ни о чем ином я и не мечтал. Пусть Мария Владимировна и за стенами школы, в недоступной для нас жизни, помнит, что есть такой паренек в 4-м «В», и пусть легкая печаль навестит ее иной раз посреди радости и забвения.

Марию Владимировну нельзя было пронять ни отменными успехами в науках — она считала, что все обязаны хорошо учиться, ни спортивными достижениями, ни подвигами иного рода, вызывавшими, как ни странно, положительный интерес у других учителей: лихим прогулом, дракой или курением во время урока. Она не удивлялась, не гневалась и не пыталась, подобно своим коллегам, постигнуть сложную душу преступника, лишь брезгливо, презрительно щурила глаза цвета березового сока.

Ее не пронять было и томным, рассеянным видом, заставлявшим сердобольную Анну Дмитриевну волноваться, все ли благополучно в семье страдальца. Мария Владимировна не интересовалась домашней жизнью учеников, не любила и душеспасительных разговоров с родителями. Она не позволяла себе вмешиваться в дела семейные и не нуждалась в родительской помощи даже в самых трудных случаях. Так, силач и хулиган Агафонов, перебывавший во всех классах и отовсюду вылетевший, был спасен и укрощен Марией Владимировной. Она убедила нас выбрать его старостой и убила сразу двух зайцев. Потрясенный доверием, Агафонов поставил крест на своем мрачном прошлом, а в классе воцарились образцовая дисциплина, порядок и чистота, ибо прямолинейный и безжалостный Агафонов был правителем аракчеевского типа.

Она заставила хорошо учиться маленькую, злую, несчастную и безнадежно неуспевающую Юрину. У нее в семье творился ад: родители скандалили, дрались и разводились чуть ли не каждый день. При очередном награждении лучших учеников в числе избранников оказалась и Юрина. «За старание» — гласила формулировка. Жизнь Юриной озарилась несказанным светом:

теперь родители могли стрелять друг в друга из пулемета — Юрина училась. Распадалась, слеплялась семья — Юрина знай училась. Она не ходила, секретничая, на переменках в обнимку с подругами, не сплетничала — она училась. У нее возникла цель в жизни — оправдать награду, остальное не имело значения.

Все свои задачи Мария Владимировна разрешала тихо, неприметно, без педагогического звона. Ей был нужен порядок — и все. Нелегко прошибить такую закованную в латы спокойствия и самоуверенности душу.

Но вот Мария Владимировна стала вести урок географии. Помню, она знакомила нас с лоскутной картой Европы, называя страны и главные города, когда я шепнул сидевшему через проход рыхлому недалекому парню по кличке Лапа:

— Спроси, где находится Андорра!..

Лапа недоверчиво покосился на меня, ожидая подвоха:

— А разве есть такая?

— Есть, есть!

— А что ты сам не спросишь?

— Так я же знаю. Зачем мне спрашивать?

Лапа озадаченно чешет в затылке.

— Спроси, дурак!.. Ну что тебе, жалко?

Лапа был хорошим товарищем. Покраснев, он выпростал из-за парты свое сырое тело:

— Мария Владимировна, а где находится эта?..

— Андорра, — тихо подсказал я.

— Андорра.

— Какая еще Андорра? — недовольно произнесла Мария Владимировна.

— Карликовое государство на границе Франции и Испании! — громко сказал я.

— Тебя, кажется, не спрашивали! — покраснела учительница. — Я еще не говорила о карликовых государствах. В Европе существуют государства-карлики: Люксембург, Монако и Андорра.

— И Республика Сан-Марино! — крикнул я.

— Совершенно верно, но запоминать их не обязательно, — сказала Мария Владимировна оробевшему классу.

— И княжество Лихтенштейн! — не унимался я.

— Не кричи, а подними сперва руку, — осадила меня Мария Владимировна.

Я тут же поднял руку и, не дожидаясь разрешения, выпалил:

— Ватикан — тоже отдельное государство.

Но тут прозвенел звонок…

Когда же на следующий день мы перешли к Америке, я

надоумил Лапу поинтересоваться, какой главный город Гондураса.

— Что ты сказал? — будто не расслышала Мария Владимировна.

— Какой главный город Гондураса? — малость струхнув, повторил Лапа.

— Тегусигальпа! — выпалил я.

Класс замер от восхищения, а на лице Марии Владимировны загорелось: стоп! Но в упоении я не внял сигналу.

— А в Никарагуа? — шепнул я Лапе.

Видать, тому понравилась игра, делавшая из него любознательного ученика.

— А в Никарагуа? — сказал он громко.

— Зачем тебе это надо? — произнесла Мария Владимировна с недоброй усмешкой. — Ты что, собираешься поехать туда?

Кто-то угодливо захихикал, а Лапа, вдруг обидевшись, проворчал:

— Я и в Париж не собираюсь, а вы же спрашиваете.

— Манагуа! — сказал я твердым голосом.

— Что? — не поняла Мария Владимировна.

— Манагуа — главный город Никарагуа!

— С чем тебя и поздравляю! — отчеканила Мария Владимировна.

И тут я наконец понял, что она действительно несведуща в географических тонкостях, и от сознания своего превосходства прямо-таки потонул в нежности к ней. Эта нежность ослепила мне душу. Я не сомневался, что в своей далекой жизни Мария Владимировна нет-нет да и вспомнит об удивительном мальчике, знающем главные города всех государств мира. Да и не только главные города, в чем она вскоре убедилась.

И Лапа, и закадычный приятель Митя Гребенников, и мой новый друг Павлик, подзуживаемые мною, засыпали ее вопросами о полезных ископаемых Либерии, местоположении острова Тристан-да-Кунья, животном мире Новой Каледонии, населении Огненной Земли, климате Французской Гвианы, морских течениях у берегов Кубы. И всякий раз у Марии Владимировны оказывался верный и надежный помощник. Как только раздавался очередной каверзный вопрос, класс весело ожидал моей подсказки, но потом, убедившись, что осечки не будет, утратил интерес к представлению, и я даже вроде бы наскучил им.

Это удивило меня не так, как непостижимая сдержанность Марии Владимировны. Она ничем не обнаруживала своего восхищения моими познаниями. И если б не румянец, очень медленно сплывавший с ее лица, я мог бы подумать, что она

страдает перемежающейся глухотой и просто не слышит ни обращенных к ней вопросов, ни моих ответов.

И все-таки я дождался своего знака отличия, хотя вначале по малости души не оценил оказанную милость. У нас была труднейшая контрольная по арифметике, самому ненавистному для меня предмету. И надо же так случиться, что из всего класса задачу решил я один. Даже наши классные Эйлер и Лобачевский осрамились. Мария Владимировна оповестила класс о всеобщем конфузе и моем триумфе. Но я недолго наслаждался успехом. Бесстрастным голосом Мария Владимировна сообщила, что, начиная с этой контрольной, она будет строго взыскивать за грязь в тетрадках, и продемонстрировала заляпанную кляксами страницу. Конечно, я даже издали узнал свою работу: ведь кляксы так же индивидуальны, как и почерк. И хотя ученик, чью безобразную, грязную тетрадку она показала, заключила Мария Владимировна, один из всего класса решил задачу, он получит «неуд».

Класс глухо зашумел, педагогическая новация Марии Владимировны впервые показалась жестокой и несправедливой.

— Глотай слюни! — посоветовал Митя Гребенников.

— Зачем?

— Тогда не заревешь.

— А я и не собираюсь, — сказал я и тут же почувствовал неодолимое желание разреветься.

Такого со мной в школе еще не случалось. Но поступок Марии Владимировны потряс меня: хороша награда за мои географические подвиги, за все, что я для нее сделал! Не отметка огорчила, плевать я хотел на этот «неуд», а душевная черствость Марии Владимировны, избравшей для своих сомнительных опытов человека, который столько раз говорил на невнятном для окружающих, но, конечно, понятном ей языке: я люблю вас! Ведь все эти Тегусигальпы, Манагуа, Кайенны, Лимы, запасы олова и никеля, грузообороты океанских портов и плотность населения Соломоновых островов были вариациями одной темы: признания в любви.

— А Мария Владимировна высоко тебя ставит, — тихо сказал Павлик.

К этому времени я проглотил все слюни, какие только были, и тщетно трудил пересохшую гортань, уже неспособную к глотательным движениям.

— Почему? — выдавил я с трудом.

— Да на твоем-то месте кто другой мог бы концы отдать, — пояснил Павлик.

Все случившееся мигом озарилось иным, волшебным светом.

Я удостоился великого доверия Марии Владимировны. Мне выпала честь быть ее терпеливым подопытным кроликом. Она отрезала мне лапку и пересадила на спину, и я должен постараться, чтобы лапка прижилась. Тогда все увидят, что Мария Владимировна никогда и ни в чем не ошибается. Это ставит меня неизмеримо выше обычного кролика, который пассивен к эксперименту. Мне уже не нужно стало глотать слюни. Я ликовал. Но про себя. Веселиться в открытую мне не пристало, не то поступок учительницы приобретет фарсовый оттенок, а сама Мария Владимировна подумает, что я бесчувственная скотина.

Я оказался на высоте. Получая свою опозоренную тетрадку из рук Марии Владимировны, я позволил себе лишь слабый намек на улыбку, чтоб она поняла готовность кролика служить ей. И тут же напустил на себя смиренно-грустный вид, дабы показать ребятам, как глубоко пронзила меня педагогическая стрела.

Вскоре последовало подтверждение моей избранности, о которой догадался Павлик. На моем примере была явлена необходимость писать грамотно всегда, а не одни лишь диктанты и домашние сочинения. Мне снизили отметку за то, что в домашней работе по арифметике я допустил описку: «длинна». Похоже, Мария Владимировна несколько преувеличивала мою выносливость. Но добрый Павлик объяснил, что суровый урок обретает убедительность лишь на примере грамотного ученика и Мария Владимировна, в силу своего тайного пристрастия, конечно же, выбрала меня…

У нас было заведено с первого класса встречать приход зеленой весны за городом. Мария Владимировна вывозила нас на трамвае куда-нибудь на окраину Москвы: в Петровский парк, Останкино, Черкизово — тем дальше, чем старше мы становились. Четвертую школьную весну решено было встретить в Измайлове, и мы на добрый час отдались болтанке полупустого трамвая. По традиции скамейка возле Марии Владимировны считалась общественным достоянием: посидел, пообщался с любимой учительницей — уступи место другим. Неписаный устав обязывал делать это незаметно, как бы невзначай. В свою очередь, Мария Владимировна не выражала удивления, что соседи ее все время меняются. Я дожидался своей очереди в компании с Ирой Букиной: девочки умели естественно и мило проводить маневр подселения к Марии Владимировне. И вот мы плюхнулись на скамейку.

— Ах как хорошо! — воскликнула Ира Букина. — Тут можно открыть окошко!

— Не советую, — сказала Мария Владимировна, — воздух холодный, тебя продует.

— Ой, тогда не надо! — испугалась Ира. — Я и так все время болею гриппом.

Внук врача, я почел своим долгом сообщить:

— Теперь говорят «грипп», а раньше говорили «инфлюэнца».

— Твои родители в Москве или на гастролях? — спросила Мария Владимировна Иру.

— На гастролях. Уехали до конца лета.

— Как все меняется, — заметил я. — Раньше говорили «чахотка», а теперь — «туберкулез».

— А что они повезли? — Мария Владимировна обращалась по-прежнему к Букиной.

— Водевиль Каратыгина и «Медведя».

— Кстати сказать, воспаление легких тоже…

— Перемени пластинку, — посоветовала Мария Владимировна.

Ира Букина рассмеялась. Ледяной тон, каким было сделано замечание, обескуражил меня. Все попытки объяснить эту резкость по методу Павлика успеха не имели. Смущенный, огорченный и подавленный, я так и не сумел «переменить пластинку» и бесславно уступил место Мите Гребенникову.

Из сыроватого, просквоженного ветрами Измайловского парка я привез то самое, о чем рвался поведать Марии Владимировне, — воспаление легких, да еще крупозное.

Неделю я был в беспамятстве, и ртуть в термометре не опускалась ниже тридцати девяти. Никакие средства не помогали, и было похоже на то, что я окончательно включил заднюю скорость — в небытие. Сам я ни о чем таком не знал, находясь в беспрерывных муках бреда: на меня неудержимо валились огромные черные камни, и я истошно кричал: «Камни!.. Камни!.. Уберите камни!» А когда камни отваливались, со всех сторон наползали странные, бескостные, какие-то тряпичные щенки. Соприкосновение с их вялой и все прибывающей плотью повергало меня в ужас и омерзение, «Щенки! — стонал я. — Уберите щенков!..»

Так поочередно меня душила то жесткая, то мягкая материя, а потом отвалились камни, уползли щенки, я очнулся в своей большой светлой комнате, узнал родные забытые лица и обрадовался им, обрадовался всему, что было вокруг: обоям, мебели, пятнам солнца на паркете, особенно же высокому белому потолку, с которого свешивалась люстра, и тому, что за окнами, — небу, сухим красным крышам, галкам, расхаживающим по карнизу. Но я был так слаб, что не мог ощутить родственности миру за окнами. И даже насельники комнаты: письменный стол, кресло, умывальник, книжные полки

— казались мне недосягаемыми.

В эту пору я сдружился с потолком. Лежа по преимуществу на спине, я все время имел перед глазами его гладкую белизну, подернутые паутиной углы, круглую лепку посредине в виде какого-то цветка, оттуда спускалась люстра на медном штыре. Вскоре мне стало казаться, что я гляжу в потолок не снизу, а сверху, будто в колодец. Потолок находился глубоко подо мною, и если добраться до торчащей со дна люстры, то по ней легко спуститься вниз и зажить на потолке, имея над головой пол и всю мебель. Не могу понять, почему мысль об этом потолочном существовании наполняла меня счастьем. Меж тем 4-й «В» завершил учебный год без моего участия.

Но по совокупности успехов меня наградили похвальной грамотой, которую вручили матери на родительском собрании.

— А Мария Владимировна?.. — спросил я слабым голосом. — Как она?

— Все тот же сейф, ключ от которого потерян, — легкомысленно отозвалась мать, но, увидев, что я огорчился, посерьезнела: — Спрашивала про твое здоровье и обещала навестить…

— Когда?

— В пятницу.

— Какой сегодня день?

— Среда… Что с тобой? — встревожилась мать. — Почему ты такой бледный?

— Надо повесить географические карты, — сказал я.

Их сняли незадолго до моей болезни под тем предлогом, что они являются рассадником клопов. Я уже миновал пик увлечения географией и не противился. Пожалуй, лишь о зверьевой карте жалел, но она могла приютить всех клопов квартиры.

— Зачем? — спросила мать. — Мария Владимировна так любит географию?

— Посмотри, какие стены — сальные, грязные и все в клопах.

— Да, надо сделать ремонт… Вот ты поправишься…

— При чем тут? Тогда все равно… Надо, чтоб к пятнице!..

— А-а!.. Ну, раз надо, сделаем. Не волнуйся так!..

Но я не успокоился до тех пор, пока наши убогие, выцветшие обои не скрылись под многоцветьем географических карт.

Со стенами было в порядке, но теперь я обнаружил множество других изъянов в своем обиталище. Надо вынести вольтеровское кресло: за пышным титулом обретается такое дряхлое, засаленное убожество, что непонятно, как мы вообще могли мириться с ним. Затем я попросил принести из темной комнаты настольную лампу с тугим фиолетовым шелковым

абажуром и поставить на письменный стол взамен моей, с разбитым фарфоровым колпаком… Лекарства надо было убрать с ночного столика и как можно дальше запихнуть под кровать фаянсовую посудину. На столик я попросил положить том Шекспира в красивом брокгаузовском издании, книжку «Охотники за микробами» и учебник английского языка. Велено было достать из стола альбом с марками, а из чулана — коллекцию бабочек, чтоб в случае необходимости были под рукой. Через некоторое время, заметив, что крыши усеяны голубятниками, оравшими, свиставшими в пальцы и мочившимися вниз длинной струей, я распорядился повесить шторы, снятые с наступлением весны.

Болезнь имеет свои преимущества. В обычной жизни я не решался беспокоить свою мать по пустякам. Она любила лишь серьезные, большие задания, требующие сил, ловкости, находчивости: достать велосипед, подобрать у букинистов всего «Агасфера» — и ненавидела мелкие бытовые просьбишки. Я никогда не просил ее ни о чем, связанном с едой, развлечениями: она сама определяла, что мне есть, носить, смотреть, где проводить лето. Иначе говоря, я мог заразить ее своими увлечениями, будь то спорт, техника или книги, но не смел совать нос в бытовые мелочи.

Но тут я распоясался до того, что стал обсуждать с матерью, чем будут угощать Марию Владимировну.

— Мы можем накормить ее обедом, — предложила мать.

— А в котором часу она придет?

— Мы так точно не условились, — сказала мать, — но я думаю, сразу после занятий.

— Но ведь занятия уже кончились!

— Это у вас, — неуверенно проговорила мать, — а учителя что-то еще делают.

— А она правда обещала прийти? — спросил я, охваченный внезапным ужасом оттого, что мать все придумала.

— Господь с тобой! Ты что же, не веришь мне?

— Как это было?

— Очень просто… Мы говорили о тебе, и она сказала, что зайдет тебя навестить в пятницу, если это удобно.

— И ты сказала, что удобно?

— Конечно, сказала! Какой ты странный.

— А что у нас на обед?

— Можно сделать селедочку с картошкой…

— А суп какой?

— Хочешь рассольник? И пирожки с мясом.

— А на второе?

— И пирожки, и второе?.. Ну, можно сделать котлеты или тефтели.

— Лучше тефтели. И кисель, да?

Через некоторое время я сказал:

— А если она придет раньше?

— Предложу ей чашку чаю. А потом обед.

— А если она задержится?

— Оставим ужинать. Вероня достала копчушек.

— Возьми мою черешню. Все равно я ее не люблю.

— Надо есть фрукты… Мы купим еще.

— Мама, — сказал я, — а ты наденешь серый костюм?

Мать как-то странно посмотрела на меня:

— Надену, если хочешь.

— Ну, тогда хорошо… — И я сразу заснул.

Конечно, все это сошло мне с рук только потому, что я перенес тяжелую болезнь. Но в роковую пятницу мама находилась на точке кипения и только чудом не «убежала». Я загонял всех. Мне требовался отцовский плед вместо моего ватного одеяла, и другие подушки, и чистые наволочки. Снизу был позван полотер-любитель Митрич для освежения воском паркета. Вероня, вооруженная щеткой на длинной ручке, снимала паутину с потолка и люстры. Моего шелудивого пса Джека, несмотря на отчаянное сопротивление, вымыли и расчесали. Оскорбленный, подавленный, розово-белый — кожа просвечивала сквозь редкую шерсть, он угрюмо залег в углу, положив морду на передние лапы, — поза, унаследованная от далеких породистых предков.

Среди дня как снег на голову явилась мамина приятельница Раечка, черноглазая, томная, рассеянная и въедливая. Она курила длинные папиросы, обсыпая все вокруг себя пеплом, смеялась тихим, долгим, многозначительным смехом, называла маму Ксёной и говорила только о мужчинах. Я пришел в отчаяние. Нельзя было представить более неудачного сочетания, чем эта томная распустеха и величественная Мария Владимировна.

— Ксёна, — донеслось ко мне из темной комнаты, — у вас пекут пирожки, я останусь обедать. Ты не хочешь позвать Али?

— Мама! — крикнул я своим шатким после болезни голосом.

Мать встревоженно вошла.

— Неужели Раечка останется у нас?

— А почему ей нельзя остаться? — удивилась мать.

— Но ведь придет Мария Владимировна!

— Ну и что же? Раечка — моя гимназическая подруга.

— Ты же сама говорила, что ее выгнали из третьего класса. Ну, мама, зачем она сегодня? Ты разве сама не понимаешь?

— Не понимаю! — запальчиво сказала мать, хотя в глубине

души отлично понимала. — В конце концов, это моя старая приятельница.

— И Али — твой старый приятель?

— Никакого Али не будет.

— Пусть и Раечки не будет. Прошу тебя!

— Может быть, для твоих гостей и я недостаточно хороша? — с ненатуральной горечью сказала мать.

— Зачем ты?.. Конечно, хороша. Только причешись. И ты обещала надеть серый костюм.

Мать начала покусывать губы — плохой признак. Но болезнь вновь защитила меня. Мать сказала мягко:

— Раечка уйдет, не беспокойся. Все будет хорошо, ручаюсь тебе…

…Я находился в чистой, прибранной комнате, увешанной нарядными географическими картами, солнце ломило в окна и ярко отблескивало в натертом паркете. Под клетчатым шотландским пледом я лежал намытый, причесанный и даже надушенный. Сбоку меня морально подпирали Шекспир, «Охотники за микробами» и учебник английского языка, со стены улыбалось доброе зверье, а континенты своими неизменными очертаниями утверждали незыблемость миропорядка, я мог радостно думать о предстоящей встрече.

В близости прихода Марии Владимировны я внутренне собрался, слившись со своей взволнованностью и обретя в этом странный покой высшего напряжения. Я был весь заполнен своим сердцем, и в нем, а не извне свершилось явление Марии Владимировны.

— Ну вот, я пришла. Здравствуй. Что же ты так напугал нас всех?.. Весь класс и меня, конечно, да ты и сам это понимаешь. Я всегда удивлялась, что ты так много знаешь. Ты понял даже мою несправедливость. Я испытывала тебя, и ты выдержал… Ты заболел нарочно, чтоб я могла прийти к тебе? Я ведь никогда не хожу на дом к ученикам… Какие у тебе прекрасные карты! Я повешу у себя такие же и буду знать все города, и всех зверей, и все полезные ископаемые… Ах какие у тебя книги! Ты такой серьезный! У меня не хватает времени, чтоб все знать, но это не такая уж беда, правда?.. Хочешь, я положу тебе руку на лоб?..

Она положила мне на лоб свою прохладную, легкую, твердую руку, я заплакал от счастья и проснулся.

Был день, и солнце, и пустота комнаты, и мой короткий сон лишь немного приблизил час прихода Марии Владимировны. На несколько минут, удивительно долгих и емких, я уже в яви переживал очарование нашей встречи, слышал отзвук ее голоса, ощущал прохладную руку на лбу. Затем видение погасло, и я

вновь погрузился в тревогу и надежду ожидания…

Это только во сне она могла говорить одна, как шекспировские герои. В жизни люди говорят по очереди. О чем буду говорить я? Наверное, ей будет интересно услышать про мою болезнь: беспамятство, черные камни, щенки, жизнь на потолке… Только бы не проговориться, что я заболел после поездки в Измайлово, надо будет и маму предупредить. Я простудился раньше и поехал в Измайлово уже больным. Я чувствовал ломоту еще в трамвае и потом все время был какой-то недоваренный. Меня продуло в Абрикосовском саду, где мы играли в футбол, вспотели, а потом поднялся сильный ветер, нагнавший первую в этом году грозу.

— Мама! — позвал я.

— Ну, что тебе? — спросила мать, входя и одергивая на себе серый, недавно сшитый костюм.

— Ой как хорошо! Тебе удивительно идет!.. Знаешь, мама, я понял, когда заболел.

— Когда вас таскали в Измайлово.

— Вот и нет! Раньше. В Абрикосовском саду.

— Не выдумывай!

— Честное слово! Я был весь потный, и тут этот жуткий ветер. А потом гроза, помнишь?

— Не сочиняй! Ты пришел до грозы.

— Конечно! Но уже простуженный. Меня всю ночь ломало.

— Зачем же ты поехал в Измайлово?

Клюнуло!

— Не надо мне было ехать! — сказал я сокрушенно. — Простить себе не могу!..

— Какой ты неосторожный…

Все: мать уверовала, что в Измайлово я поехал уже больным.

Мама ушла в темную комнату, оттуда свежо и крепко запахло духами, и это было как предвестие Марии Владимировны.

Вскоре она начала появляться — большой крахмальной скатертью, столовым серебром, извлекавшимся на свет Божий лишь в самых торжественных случаях, посудой, прибывшей из кухни на подносе, белейшим Верониным фартуком…

На крыше возникли голубятники, и мама по моей просьбе задернула шторы. Мягкий полумрак наполнил комнату, словно долгий майский день внезапно склонился в сумерки. В щель между шторами проник широкий и плоский, как бритвенное лезвие, луч и уперся в противоположную стену. По нему вверх-вниз заскользила радужная поперечная полоска.

Я закрыл глаза, решив открыть их не раньше, чем в этом луче возникнет Мария Владимировна.

— Ну, здравствуй, — скажет она.

Мне вдруг захотелось отодвинуть миг ее появления, уже заложенный в ячейку близкого будущего. Ведь, едва свершившись, этот миг тут же станет прошлым. Конечно, твое прошлое всегда с тобой: Акуловский сад, Уча, вспышки молний в стеклянном шаре над клумбой, «бабушка в окошке» и тяжесть биты в руке, девочка Ляля, поедающая шоколад, сатанинское обаяние Кольки Глушаева, но было бы куда лучше, если б все это мне еще предстояло.

«Помедлите, — просил я Марию Владимировну, — помедлите еще немного. У меня есть силы ждать, а когда их не станет, вы придете…»

Позже, когда луч, все смещавшийся в сторону двери, уже не пересекал комнату, оставшись мазком на подоконнике, я попросил маму раздвинуть шторы. За окном было еще много света и синевы, но я не дал себя обмануть. Голубятники покинули крыши, значит, настал прозрачный майский вечер.

— Мама, — сказал я, — ты точно уговорилась с Марией Владимировной?

— Ну, конечно, я уж тебе говорила.

— Но ведь не обязательно к обеду?

— Н-нет, но я так ее поняла.

— А может, она придет вечером?

— Перестань! — сказала мать. — Придет твоя Мария Владимировна. Не станет же она обманывать больного.

— А можно не убирать со стола? Пусть у нас будет ужин… И если хочешь, позови кого-нибудь. Только не Раечку. Позови художника, которого укусил Джек.

— Да мне никто не нужен, — сказала мать. — Есть хочется.

— А ты поешь… немного. А потом поужинаешь. Только ты не переодевайся, ладно?.. Мария Владимировна придет. Я ведь правда очень сильно болел. Митя Гребенников говорит, что я чуть не умер.

— Дурак он, твой Митя.

— Нет, он очень самобытный. — Мне вспомнилось, что так говорила Раечка о своем Али, когда его тоже называли дураком. — Все равно я очень тяжело болел и сейчас еще не выздоровел.

Много позже, когда за окнами еще брезжил свет, а в комнате стало совсем темно и мама зажгла настольную лампу, я сказал:

— Мама, а можно не снимать карты?

— О чем ты?

— Ну о картах! Не снимайте их, пока я не встану. А клопов мы потом выведем.

— Ты столько собираешься ее ждать? — грустно спросила мать.

— Но ведь она же придет? Ты сама сказала. Ты меня никогда не обманывала.

— Я — нет!..

— А вдруг она заболела? Надо сходить завтра в школу и узнать. Наверное, она заболела и лежит одна. Ты знаешь, она живет совсем одна. У нее никого нет.

— Бедняжка! — сказала мать, и непонятно, относилось это к Марии Владимировне или ко мне.

— А ты дала наш адрес по Телеграфному или Армянскому? Ей удобнее с Телеграфного. Армянский от нее дальше, и потом надо пройти два двора и столько камней… черных камней!.. Убери, убери камни!

Может быть, даже лучше, что все кончилось так: это избавило меня от дальнейшего мучительного ожидания. А потом пришел сон, долгий, глубокий, без сновидений, и настало утро в слабости и тумане, и врач тыкал меня в спину и грудь холодным кружочком стетоскопа и что-то бормотал о «втором кризисе», и я опять заснул. Вторично проснулся под своим обычным ватным одеяльцем, карт на стенах уже не было, и Шекспир с «Охотниками за микробами» вернулись на книжную полку. Но и без этих очевидностей я уже знал, что Мария Владимировна не придет, что она не собиралась приходить и обмолвилась своим обещанием из пустой вежливости. Я не знал, почему она так поступила, да и не думал об этом. Моя Мария Владимировна перестала существовать…

Марии Владимировны уж нет на свете. Она прожила долгую жизнь и чуть не до последних дней работала в школе. Я никогда не расспрашивал о ней школьных товарищей. И если минувшее все же всплыло, то помимо моей воли.

Это случилось на одной из наших традиционных встреч. Бывшая девочка Ира Букина последней видела Марию Владимировну. Та с удивительной теплотой вспоминала наш старый класс, делая единственное исключение для меня.

— За что же такая немилость? — спросил я.

— Ты не берег ее скромного достоинства, — наставительно ответила бывшая девочка Ира Букина.

— Вот как?.. В чем же это выражалось?

— А география — забыл?.. Ты вел себя ужасно!

— Господи, что за чушь!

— Ничего не чушь. Сколько лет прошло, а Мария Владимировна все спрашивала: «За что он меня так ненавидел?..»

Как трудно быть учителем, но и как трудно быть учеником!